
Ю. Каткова
Грешник
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Юлия Каткова

Грешник

«Автор»
2026

Каткова Ю.

Грешник / Ю. Каткова — «Автор», 2026

Мрачное мистическое фэнтези на стыке сибирского нуара 90-х и удэгейских легенд. Главный герой родился во грехе и с детства нес в груди разрушительный огонь. Выросший в жестоких стенах детдома, он потерял единственную чистую любовь — Алису, и на двадцать лет погрузился в ледяное оцепенение, выжженное виной.Но старинный свиток уводит его на край земли — в таежный поселок Терней на побережье Японского моря. Здесь он встречает Айну, хранительницу из клана Воды, пугающе похожую на его первую любовь. Герою предстоит узнать, что его огонь — это ключ к двери на Мёртвом озере, сдерживающей первородную черную бездну.Когда дверь срывается с петель, а хтонические волки-шоно выходят на охоту, герою придется сделать выбор: остаться верным призракам прошлого или довериться живой, обжигающей реальности. Сможет ли Грешник обуздать пожар под толщей ледяной воды, если цена закрытия двери — новая кровь?«Дверь открывается с другой стороны... Жди вестника».

© Каткова Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 6
Глава 1. Как я появился на свет 8
Глава 2. Законы «Недежды» 18
Глава 3. Любовь или влюбленность? 24
Глава 4. Рождение нового Бога 29
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Юлия Каткова
Грешник

Грешник

Предисловие

Лилит или Ева — сейчас не понять,

Ты глядишь в высоту, где огни не погаснут.

В твоём сердце — не дом, а желанье летать,

Даже если все ждут, что ты просто увянешь.
Ты слыхала про тихие улицы, свет,

Про уют, про рутину, про «как у людей»,

Но твой взгляд устремлён туда, где рассвет

Рисует на крышах узоры огней.
У города — шум и бегущий поток,

У неба — безмолвие, звёзды и лёд.

А ты встала на грани, не зная дорог,

И ждёшь, что судьба наконец-то поймёт.
Когда он придёт — тот, знает тебя,

Кто не спросит: «Зачем?», а пойдёт за тобой,

Он не станет дарить тебе вечный покой,

Он украсит весь мир, что горит над тобой.
Если надо, он город поднимет вверх дном,

Если надо — уйдёт, не оставив следа.

Но всегда, даже в месте глухом и простом,

Он тебя сохранит от холодного «никогда».
К.Ю.



28 октября
Том
I

Глава 1. Как я появился на свет

«...ибо каждая тварь из потемков

происходит, и темна душой»
И. Бродский «Колыбельная трески»



Мне пять лет.

Это был первый месяц осени. Двери храма были открыты, и моя покойная матушка занесла безвольное дитя в церковь. Был двунадесятый праздник, собрались верующие со всех близлежащих деревень. Такое скопление людей я никогда не видел, исключением являлась лишь Пасха, но и она не привлекла внимание маленького создания, коим являлся я, так сильно.

В полумраке храма, где воздух будто густеет от тишины и запаха ладана, разгорался особый, древний чин. Ещё недавно здесь царил приглушённый свет, и тени мягко ложились на лики святых, а теперь всё замирало в ожидании.

На утрене, когда храм уже полон людьми, священник выходил из алтаря — и в его руках тот самый знак, что вмещает в себя и боль, и победу. Тяжёлый, строгий крест он возносил над головами прихожан. В этом движении я видел не обычный жест, а эхо далёкого дня: будто сам патриарх Макарий вновь поднимал святыню, чтобы каждый мог увидеть, поклониться, прикоснуться сердцем к тайне спасения.

В больших, соборных храмах этот момент раскрывался ещё полнее. Крест медленно поднимали и обращали к четырём сторонам света, словно благословляли весь мир, напоминая, что весть о Христе должна дойти до всех концов земли. И каждый раз, когда святыня замирала, устремлённая на север, юг, восток или запад, хор тихо, но твёрдо поёт: «Господи, помилуй». Эти слова тогда для меня звучали не только как просьба, но и признание: здесь, в этом храме, в этом мгновении, небо становится ближе.

Вокруг разливались песнопения: тропари, кондаки, величания. Их голоса сплетаются в единое дыхание храма: в них — вся суть праздника. Они говорили о том, как орудие казни стало древом жизни, как через крест Христос даровал людям победу над смертью. Слова будто высечены в воздухе: простые, но такие глубокие, что отзываются в самой груди.

А священники в этот день были облачены в фиолетовые ризы — цвет покаяния и величия, цвет, в котором смешались скорбь и торжество столь далекого для моего *тогдашнего* понимания праздника. Фиолетовый отсвет ложился на иконы, на подсвечники, на лица молящихся, и кажется, что сам воздух в храме становился чуть торжественнее, чуть тише. Я чувствовал, как весь мир на мгновение склонил голову перед этой тайной. Даже атеисты склонили головы в этот чудесный день. Спасение пришло. Бог уже здесь, и он молится за нас грешных и неопытных созданий, ибо *рождаемся мы во грехе*.

Мать учила меня читать Псалтирь, когда мне и года не было. Строки о первородном грехе я заучил к трем годам и бубнил их наизусть, не понимая смысла: *«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»*.

Моя матушка веровала неистово — до тех самых пор, пока по деревне не поползли шепотки о её сумасшествии. Молитвы её не походили на тихое, смиренное прошение у бога. Каждую ночь, когда за окном выла зимняя вьюга, она опускалась на колени прямо на голый, неструганый пол нашей избы. Перед ней на низком табурете стояла копеечная бумажная икона в косо прибитом окладе, испачканном каплями застывшего дешевого стеарина.

Мать молилась часами, бьясь лбом о доски с таким жутким, глухим стуком, что у меня под одеялом заходилось сердце. На её лбу пониже корней волос никогда не заживала серая, покрытая сухой корочкой мозоль от этих бесконечных поклонов. Она не просила здоровья или хлеба. Её сухие, потрескавшиеся губы в темноте яростно шептали одно и то же, словно заклинание: *«Гниль во плоти... семя бесово... исторгни, господи, черную кровь из отродья сего...»* Она молилась против меня. Против того, что я вообще дышал в этой комнате.

Когда её рассудок совсем темнел, она хватала меня за шкирку своим цепким, костлявым кулаком, пахнущим хозяйственным мылом и печной золой, и тащила к углу. Силой прижимала мою маленькую ладошку к ледяному, потеющему от зимней стужи стеклу окна и заставляла смотреть во тьму: «Гляди, чертеныш! Гляди, твой отец там ходит, копытами снег роет! Бес тебя зачал во грехе блудном, бес и заберет, коли каяться не станешь!» От её горячего, лихорадочного дыхания на стекле оставалось мутное пятно, сквозь которое я со слезами всматривался в черные сугробы, по-настоящему боясь увидеть там дьявола. Любви ко мне она не знала. Все её годы после моих родов превратились в сплошное искупление какой-то неведомой мне вины. Отца я не помнил; мать называла его «бесом», который страстью погубил её душу.

Грешник… Это слово услышал раньше, чем начал говорить, не знал тогда, кому оно было адресовано, не знаю и сейчас. А что вообще означает это слово? Гре-шник… Всего два слога, семь букв, но что за тайны они в себе хранят. Может, дело в религии?

В христианстве грешниками считаются все люди: «…нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Однако христиане считают, что есть грешники, кающиеся с своем зле, а есть те, которые пропитаны злом и существуют в нем по собственной воле. К каким же причисляла меня мать… Раскаивался ли я в своих грехах, как того хотела мать… Был ли я настолько погружен в него, будучи маленьким существом? Мне сложно было ответить на эти вопросы тогда, сложно и сейчас.

Я смотрел своими глазками-бусинками на стены храма, на потолок и даже представить не мог, что жизнь моя когда-то будет похожа на геенну адскую, а не на Эдемов сад, как хотелось. Матушка склоняла голову перед ликами святых, как будто провинилась во всех грехах сразу, но единственным ее грехом было – познакомиться с моим отцом и поносить от него дитя. Не было на этом свете женщины столь несчастной и забитой, как моя мать.

Жизнь свою я помню еще с утроба матери, там я чувствовал себя безопасно. Наверное, это было единственное место, которое вызывало во мне это чувство.

Безопасность.

Дальше ждал меня лишь мрак.

Тьма, которую и представить сложно мне приходят строки, я хочу их записать на бумаге, но могу лишь тихо бормотать себе под нос:

В храме густом, где ладан и день,
Где молитвы плывут, словно тень,
Я родился — дитя двух миров,
Меж земным и небесным ветров.

Мать моя, словно тень у креста,
Бьётся лбом до кровавых полос,
А во мне — непокорность и свет,
Что не гаснет средь тысячи грёз.

Я родился в самый глухой час ночи, когда даже свечи в предродовой палате исходили не столько светом, сколько удушливым чадом растопленного сала. Люди, не знающие анатомии страха, думают, будто рождение — это триумф жизни, сопровождаемый трубным гласом младенческого крика. Они глубоко заблуждаются. Рождение — это прежде всего жестокая, мокрая и грязная хирургия, пограничное состояние между разрывом живой ткани и судорожным усилием вытолкнуть новое существо из теплой тьмы в холодный, враждебный воздух.

Моя мать рожала меня долго. Слишком долго для того, чтобы плод остался невредимым. Теперь, изучая старые медицинские трактаты и атласы по акушерству, я слишком ясно вижу, что происходило в те часы за плотно зашторенными окнами. Я вижу это в разрезе, в блеклых тонах литографий девятнадцатого века: костный таз матери, слишком узкий, зажавший мою голову в тиски меж лобковым симфизом и мысом крестца. Каждая схватка — этот слепой, безжалостный мускульный пресс матки — не продвигала меня вперед, а лишь сильнее вколачивала мой череп в костное кольцо.

В те времена это называлось «клинически узким тазом», патологией, перед которой повитухи и уездные лекари опускали руки, уповая лишь на чудо или на костные щипцы Шампетье де Риба. Я чувствую эту боль задним числом — как конфигурировались, заходя друг за друга, швы моего черепа. Стреловидный, ламбдовидный, венечный... Мягкие кости младенческой головы способны деформироваться, спасая мозг от раздавления, но у всего есть предел. Моя голова вытянулась в уродливый, продолговатый конус — то, что старые немецкие

акушеры называли Caput succedaneum, родовая опухоль, налитая темной венозной кровью и лимфой.

Когда воды отошли — а они были зелеными, густыми от мекония, что прямо свидетельствовало о глубокой асфиксии и о том, что я начал задыхаться еще в утробе, — повитуха перекрестилась. Зеленые воды для них были запахом скорой смерти, предвестником гнилостной лихорадки или мертворождения. Сердцебиение плода тогда выслушивали примитивной деревянной трубкой — стетоскопом Майо, прикладывая ухо к мокрому животу роженицы. С каждым часом стук моего сердца становился все реже. Со ста сорока ударов в минуту — нормальной, здоровой дроби — он упал до шестидесяти. Это была брадикардия, предсмертный хрип угасающего плода. Мой мозг испытывал жесточайшее кислородное голодание, ишемию корковых структур, при которой клетки серого вещества начинают отмирать одна за другой, погружаясь в вечный анабиоз.

И вот я вырвался. Излился вместе с остатками околоплодной слизи, крови и сукровицы на грязную парусину.

В комнате повисла тишина. Та самая звенящая, вакуумная тишина, которая страшнее любого крика. Живой ребенок кричит сразу же, как только холодный воздух раздражает рецепторы его кожи и заставляет рефлекторно сократиться диафрагму. Первый крик — это расправление альвеол. До этого момента легкие младенца представляют собой плотные, безвоздушные мешки, похожие на сырую печень. Они тонут в воде, если провести легочную пробу. Крик — это взрыв, это воздух, с силой врывающийся в бронхиальное дерево, расправляющий миллионы крошечных пузырьков, срывающий с них липкую эмбриональную смазку.

Я не закричал. Мои легкие остались спавшимися. Я лежал на руках повитухи синесерым, асфиксическим телом, с вялыми, безжизненными конечностями. В медицине это называется «белой асфиксией» — крайняя степень гипоксии, когда рефлексы угасли, тонус мышц равен нулю, а сердце бьется столь слабо и редко, что пульсация пуповины уже не прощупывается. Моя пуповина — этот толстый, студенистый канат, наполненный вортоновой желчью, — была мертва и бела. По ней больше не шла обогащенная кислородом кровь из плаценты. Плацента уже начала отслоиться, лишая меня последней связи с жизнью.

— Не жилец, — выдохнула повитуха, отступая к иконам. — Мертвенький пришел. Грехи наши тяжкие.

Мать моя лежала в беспамятстве, ее лицо было покрыто каплями холодного пота, а губы посинели от потери крови — матка после таких затяжных родов плохо сокращалась, угрожая атоническим кровотечением. Если бы она открыла глаза в тот миг, она увидела бы плод своего чрева, похожий на утопленника. Родственники, столпившиеся у порога, истово крестились, но в их глазах был не столько стыд или скорбь, сколько первобытный, суеверный страх. Мертвый ребенок, родившийся в доме — это проклятие. Это знак того, что порог переступила нечистая сила. В народе верили, что не успевший закричать младенец не имеет души, что его тело может перехватить упырь или подменыш.

Меня не стали мыть теплыми водами. Мое тело, покрытое первородной смазкой — vernix caseosa, похожей на холодный свиной жир, — положили на дощатый стол, покрытый ветошью. Повитуха уже потянулась за крестильной водой, чтобы совершить экстренное крещение «страха ради смертного», когда младенца просто кропят водой, нарекая именем, чтобы его душа не томилась в Лимбе среди некрещеных. Но даже для этого ритуала она медлила, боясь прикоснуться к моему холодному, синюшному телу.

Я лежал там, где проходит невидимая граница между судебно-медицинским определением мертворождения и чудом реанимации. Если бы лекарь, практиковавший в те годы, вскрыл мою грудную клетку, он зафиксировал бы классические признаки антенатальной или интранатальной гипоксии: пятна Тардье — мелкие, как уколы булавки, кровоизлияния под плеврой легких и под эпикардом сердца, возникающие от отчаянных, бесплодных попыток сде-

лать вдох в замкнутом пространстве матки. Мои сосуды были переполнены густой, темной, лишенной кислорода кровью. Мой мозг отекал. Все указывало на то, что я должен был стать частью той самой зловещей статистики, о которой не принято говорить вслух на светских раутах.

Один случай раз в 16 секунд. Когда я впервые наткнулся на эти цифры в отчетах Международного комитета здравоохранения, у меня перехватило дыхание. Это не просто сухая математика, это метроном смерти, работающий без остановки, день за днем, век за веком. Вдумайтесь в этот ритм. Вы делаете вдох — где-то женщина тужится в последний раз, и на ее руки ложится холодный плод. Вы делаете выдох — и повитуха в глухой африканской деревне или в трущобах Калькутты заматывает в рогожу тельце, так и не издавшее ни единого звука.

Два миллиона мертворождений в год. Это колоссальный, безмолвный город, который строится под землей каждую минуту. Это население Парижа или Вены, состоящее исключительно из существ, которые никогда не видели солнца, не пробовали материнского молока, не знали, что такое свет и тень. Если выстроить их гробики в одну линию, эта цепочка обогнет земной шар по экватору. И вся эта гигантская масса плоти, эта неслучившаяся жизнь, списывается обществом как неизбежный брак, как побочный продукт человеческого воспроизводства.

Помню, как мама стояла над моею кроваткой и сжимала в руках подушку, никогда не забуду ее взгляд, нечеловеческий, опасный. Все мое нутро тогда затрепетало, но я не проронил ни писка.

Один край подушки она закусила, чтобы не накинуться на меня или чтобы сдержать слезы, которые ее бледному лицу придали бы хоть немного краски. Соленые и горькие слезы я видел только, когда она впервые взяла меня на руки. Однако заметив мой взгляд, слишком осознанный для младенца, испачканного в крови, она тут же отпрянула от меня. Сейчас же все иначе, ненависть, которая сочилась из нее и не давала выбраться через пучину страданий, заполнила сначала радужку глаз, а затем и зрачок. Глаза налились кровью, она занесла подушку над своей головой, подняла костлявые руки, а затем резко опустила на мое лицо. Даже сейчас не произнес ни звуку, ни крика. Она ждала, когда моя грудь перестанет вздыматься, а сердце остановится, но прошла минута, другая, а я все еще дышал ровно. Она вскрикнула от отчаяния, что даже убить меня не может, зарылась тонкими пальцами в свои поредевшие волосы и начала дрожать, выть, как зверь, которого подстрелили.

Тогда она наконец сказала, что ненавидит меня. Я помню ее слова, помню, потому что это был единственный раз, когда она высказала свои чувства ко мне.

Матушка редко поминала отца, а когда поминала — лицо её мгновенно выцветало до костяной бледности, а костлявые пальцы яростно, до крови впивались в края деревянного стола, покрытого каплями застывшего стеарина. Для неё он не был человеком из плоти и крови. Он был Бесом, Дьяволом, который страстью и первородным грехом погубил её чистую, светлую душу.

Лишь однажды, в глухую январскую ночь, когда за окном нашей избы выла лихорадочная сибирская вьюга, а её разум окончательно потемнел от болезни, она выставила на стол недокуренную пачку копеечных сигарет и заговорила. Её сухие, потрескавшиеся губы шевелились в полумраке, выплевывая слова, словно горькие лесные ягоды.

— Это был конец августа, Грешник, — её лихорадочный взгляд был устремлен мимо меня, в темный угол, где не было икон. — Наша деревня стояла тогда у самого храма Вознесения. Я была молодой, глупой девчонкой, носила легкое ситцевое платье, оно красиво обтягивало мои бедра... Я зашла под прохладные своды церкви, чтобы спрятаться от полуденного зноя. И там встретила его.

Она судорожно затянулась, и огонек сигареты тускло осветил её измученное лицо.

— Он стоял у придела клана Камня, прямо под ликом строгого пророка. Твоего отца я узнала сразу, хотя никогда прежде не видывала в наших краях людей с такой дикой, царственной статью. Высокий, широкоплечий, в поношенной охотничьей шинели из грубого армейского сукна. Лицо его было худым, обветренным до черноты таежными штормами, с острыми, словно гранитные скалы Саяна, скулами и тяжелым, горным носом. Но страшнее всего были его глаза. Темные, глубокие зрачки, в которых в полумраке храма явственно вспыхивал дикий, желтый волчий свет. Точно такой же, какой я потом увижу в зрачках Даши на Мёртвом озере.

Матушка перекрестилась дрожащей рукой, роняя пепел на свои колени.

— От него пахло не ладаном и не казенным воском. От него перло мокрой волчьей шерстью, соленым прибоем Японского моря и сухим багульником. Он пришел из Приморья, с самого края мира, ведомый каким-то своим, черным шаманским делом. Когда он посмотрел на меня в упор, у меня ноги подкосились. Словно сам Сатана явился в соборный храм. Он подошел беззвучно — его пимы из оленьего камуса не издали ни единого шарканья по каменным плитам пола. Взял меня за руку, и его пальцы были горячими, как угли в печи. Но под его ногтями, Грешник, под самой кожей его ладоней я успела разглядеть жесткую, мелкую антрацитовую чешую. Он был из Ушедших. Из тех, кто продал свою тень Мертвой воде озера.

Она замолчала, кашляя от едкого дыма.

— Мы предались греху в тот же день. Рядом с церковным погостом стоял заброшенный бревенчатый домик, заросший диким малинником. Он сорвал с меня это ситцевое платье, оставив его на грязных половицах. Мы сплетались в страстном, безумном танце порока под вой ветра в щелях. Он был властным, сильным, гнул мой хребет, как молодую березку в чаще. Под его кожей пульсировал тот самый первородный, разрушительный Огонь, который он передал тебе вместе со своей черной кровью. Я горела в его руках, растворялась в его мазутном, соленом запахе и думала, что ради этой ночи готова сгнить в геенне.

Матушка резко повернулась ко мне, её костлявый кулак с силой опустился на стол:

— А на рассвете он сбежал. Исчез, словно его туманом всосало обратно в его проклятый Терней. Не оставил ни записки, ни слова. Как будто меня никогда не существовало на этом свете. Единственным напоминанием о его волчьей страсти остался тот выжженный дом и ты, ребенок... Грешник, в чьих венах течет кровь пса бездны. Твой отец был Хранителем Огня, который предал свой клан, сломал Каменный замок земли и ушел на запад, спасаясь от карающей стаи шоно. Он оставил меня умирать здесь в нищете, а сам вернулся на побережье, чтобы сдохнуть в Мертвой воде.

Она потушила окурок о край крынки с молоком и беззвучно завыла, закрывая лицо руками.

- Сын, если ты когда-нибудь поступишь со своей возлюбленной так, как сделал это твой отец, я тебя возненавижу еще сильнее, ты исчезнешь для меня.

Докуренная сигарета свидетельствовала, что разговор был закончен, больше она не желала видеть меня.

Целыми днями ее не было дома, со мной возилась нянька, один глаз у которой был стеклянный и, когда она разговаривала со мной, я постоянно порывался вырвать эту стекляшку. Мне было не столь любопытно рассмотреть ее ближе, сколь навредить Людмиле Ивановне, совершить такую гадость, которую бы она не простила мне, и после которой бы ушла из нашей с матушкой жизни.

Однако не всем приятностям было суждено сбыться, нянька приходила каждый день, читала мне сказки про какого-то Колобка, Лисичку-Сестричку, Волчка, Красную Шапочку. Тогда казалось, что лучше бы со мной играли в «Казаков-разбойников», «Салочки», но по прошествии лет, я иначе взглянул на многие вещи…

Мне пошел седьмой год, уже школа, одноклассники, первые синяки от драк. Мама видела всё, но молчала.

Дни тянулись однообразно, словно серые нити, сплетаясь в бесконечную паутину моего детства. Нянька Людмила Ивановна, с её странным стеклянным глазом, стала моим первым врагом. Я наблюдал за ней исподтишка, подмечая каждую черточку её морщинистого лица, каждый жест, каждое движение. В её присутствии я чувствовал себя пленником, запертым в золотой клетке благополучия, но лишённым самого главного — свободы быть собой.

По вечерам, когда она рассказывала свои бесконечные сказки, я представлял, как вырываю эту проклятую стекляшку из её глазницы. Мне казалось, что тогда она наконец поймёт, что я не хочу быть тем послушным ребёнком, каким меня желала видеть. Но она продолжала приходить, методично читая свои истории, будто пытаясь привить мне мораль, которая была мне чужда.

Матушка же появлялась дома всё реже. Её редкие визиты были похожи на вспышки далёких молний — яркие, но холодные и не приносящие тепла. Она всегда была бледна, словно тень, и её глаза хранили какую-то неизъяснимую боль. Я чувствовал, что она несёт в себе тяжесть, непосильную для её хрупких плеч, но не мог понять, что именно терзает её душу.

В такие моменты я часто убегал в храм, единственное место, где чувствовал себя по-настоящему живым. Здесь, среди древних икон и мерцающих свечей, я находил то, чего не мог найти нигде больше. Звуки молитв, запах ладана, игра света и тени — всё это наполняло меня странным трепетом, будто я прикасался к чему-то великому и непостижимому.

Здесь, в этом святом месте, я чувствовал себя частью чего-то большего, чем моя собственная маленькая жизнь. Свечи оплывали, оставляя восковые следы на подставках, а их огоньки трепетали, словно живые существа, танцуя в такт молитвам прихожан.

Священники, облачённые в свои торжественные ризы, двигались по храму с величественной неспешностью. Их голоса, сливаясь в единое целое, создавали музыку, способную тронуть самые глубокие струны души. Я наблюдал за ними, затаив дыхание, впитывая каждое движение, каждый жест, словно пытаясь разгадать тайну их спокойствия и внутренней силы.

В эти моменты храм становился для меня не просто зданием — он превращался в живой организм, дышащий, чувствующий, понимающий. Здесь, среди икон и свечей, я находил ответы на вопросы, которые не мог задать вслух. Здесь я учился слышать тишину и видеть свет там, где другие замечали лишь тьму.

И каждый раз, покидая храм, я уносил с собой частичку его спокойствия, его мудрости, его тайны. Но с каждым днём эта частичка становилась всё меньше, а тьма, таящаяся в моей душе, всё больше стремилась вырваться наружу, требуя своего часа, своего права на существование.

Матушка была всегда тенью в моей жизни. Ее у меня забрала болезнь, о которой никто и не подозревал, тихо, нещадно умирала каждая клеточка не только души, но и тела матери. Я никогда не говорил, что люблю ее, она этого и не требовала. Просто была, а теперь ее нет. Что делать мальчику, который потерял мать в десять лет?

Ни-че-го…

Теперь мне десять.

Осенний ветер трепал пожелтевшие листья, когда похоронная процессия медленно двигалась к кладбищу. Небо, словно разделяя мою боль, затянуло свинцовыми тучами, готовыми в любой момент разразиться дождём.

Гроб несли четверо мужчин в чёрных костюмах, их шаги были размеренными и тяжёлыми, будто каждый из них нёс не только деревянный ящик, но и часть моей разбитой души. Впереди шёл священник в тёмно-фиолетовой ризе, его голос, хоть и слабый, уверенно выводил заупокойные молитвы.

На кладбище было пустынно. Только несколько случайных прохожих остановились, перекрестились и пошли своей дорогой. Я стоял у свежей могилы, держа в руках горсть земли. Мои руки дрожали, и земля просыпалась сквозь пальцы, словно слёзы, стекающие по щекам.

Матушка лежала в гробу такая же бледная, как и при жизни. Её лицо казалось умиротворённым, будто смерть наконец-то принесла ей долгожданный покой. Её руки были сложены на груди, а в них зажата маленькая иконка, которую она всегда носила с собой.

Когда священник закончил отпевание, все стали подходить проститься. Людмила Ивановна, которая теперь казалась мне не такой уж и страшной с её стеклянным глазом, тихо всхлипывала, бросая землю на крышку гроба. Следом подошли дальние родственники, которых я едва знал.

А потом я остался один. Нет, не совсем один — рядом стоял священник, но он словно растворился в воздухе, оставив меня наедине с моей болью. Я опустился на колени перед могильным холмиком и впервые за долгое время позволил себе заплакать. Все те невысказанные обиды, вся та боль, которую я так старательно прятал в глубине души, вырвались наружу горькими слезами.

«Матушка... мамочка...» — шептал я, прижимаясь лбом к холодному камню. — «Как же я буду без тебя?»

В этот момент я почувствовал, как чья-то рука легла мне на плечо. Священник молча стоял рядом, не пытаясь утешать словами — он просто был рядом, деля со мной эту боль.

Когда я наконец поднялся, небо всё-таки прорвалось дождём. Крупные капли падали на мою голову, смешиваясь со слезами, и я вдруг понял, что теперь всё изменилось навсегда. Десятилетний мальчик остался один на один с этим миром, и никто не знал, как сложится его дальнейшая судьба.

Я повернулся к могиле в последний раз. Дождь размывал сырую землю холмика, превращая свежую глину в грязное, оплывающее месиво, размывал мои глубокие следы от детских ботинок, размывал зыбкие границы между жизнью и смертью. И в этот момент я поклялся себе, что никогда не забуду матушку, что сохраню в своём сердце её измученный образ, каким бы призрачным и пугающим он ни был.

А потом я развернулся и пошёл прочь от могилы, чувствуя, как внутри меня, глубоко под рёбрами, со страшным, беззвучным скрежетом что-то надламывается, крошится и перестраивается заново. Это ломался хребет моего детства. Из меня уходило всё то маленькое, глупое и беззащитное, что еще ждало материнского тепла или хотя бы доброго слова. На место прежнего испуганного мальчишки, коим я являлся до сегодняшнего полудня, медленно, по капле заступал хмурый, ощетинившийся звереныш, готовый грызть любого за право просто дышать.

Я шёл под ледяным, косым дождём, не разбирая дороги, прямо по раскисшей, склизкой траве между чужих кованых оград и покосившихся крестов. Ноги вязли в жиже, казенные, купленные нянькой на вырост ботинки хлюпали, наливаясь тяжелой кладбищенской водой, но я не замедлял шага. Каждая крупная, обжигающая стужей капля, падавшая на мою непокрытую голову, словно тяжелым молотом выбивала из моей души старые, теплые воспоминания: запах маминого ситцевого платья, редкие тихие вечера в нашей избе, звук её голоса, читающего Псалтирь, и те редкие минуты, когда мир не казался мне геенной огненной. Дождь вымывал из меня остатки человеческого, выбивал саму память о том, что меня когда-то могли любить.

Вода стекала по воротнику за пазуху, рубаха липла к спине холодным саваном, но я ощущал лишь пустую, звенящую легкость. Изнутри меня вымело всё лишнее. Моя душа сироты становилась похожей на ту самую пустую рыбацкую хижину на болоте — голые серые стены, заколоченные окна и гулкий сквозняк в углах. Я освобождал это место для новых, ещё неизвестных, жестоких испытаний, которые уже караулили меня за высоким забором приюта «Надежда».

Я не оборачивался на уходящий вдаль могильный холм. Кладбищенские ворота со ржавым, протяжным скрипом закрылись за моей спиной, отсекая прошлое, словно тяжелая гильотина. Впереди меня ждала бетонная коробка детдома, чужие злые лица старшаков и долгие годы оцепенения. Но страха больше не было. Наст внутри меня застыл намертво.

После похорон меня определили в детский дом «Надежда».

Слово это — «Надежда» — выбитое на облупившейся жестяной табличке у входа, казалось мне тогда злой, изощренной издевкой. Какая, к черту, надежда могла ждать меня в стенах подобного заведения? Когда участковый вел меня по раскисшей от дождя аллее к массивным дубовым дверям, я смотрел на унылые трехэтажные стены и понимал: это не просто приют, это братская могила для таких же живых покойников, каким сегодня стал я.

Внутри меня, на месте выжженных дождем материнских молитв, селился глухой, звериный страх. Я думал о том, что теперь у меня не останется ничего своего — даже имени. В этих казенных стенах я стану просто инвентарным номером, единицей в ведомости завхоза, как те серые байковые одеяла или щербатые алюминиевые миски в столовой. Я отчетливо понимал, что отныне за каждый глоток воздуха, за каждую корку хлеба и за право не быть избитым в темном углу туалета мне придется драться зубами. Мать всегда твердила, что я рожден во грехе и пропитан тьмой — что ж, детдом казался идеальным местом для такого, как я. Здесь не было места сентиментальности или жалости. Я думал о шести пацанах, с которыми мне придется делить тесную каморку, о казенной хлорке, которая въестся в кожу до зуда, и о старшаках, чьи тяжелые шаги уже чудились мне в гулких коридорах.

«Надежда» готовилась сожрать меня, переварить и выплюнуть таким же хмурым, озлобленным уголовником, какими становились здесь все к шестнадцати годам. Но, глядя на тяжелое, провисшее небо над крышей приюта, я пообещал себе: я не сломаюсь. Я приму эти правила игры, научусь лгать, прятать глаза и бить первым. Если этот мир — тюрьма, то я стану самым опасным её обитателем.

После похорон матушки меня на пару дней вернули в нашу старую избу на окраине деревни — казенная бюрократия приюта «Надежда» ворочалась медленно, и участковому нужно было время, чтобы составить опись сиротского имущества. Эти сорок восемь часов в пустом, вымерзшем доме превратились в ад.

В избе стояла удушливая, могильная тишина, пахнущая сухими лекарственными травами, застоялой сыростью и тем самым дешевым стеарином, капли которого намертво въелись в деревянную доску табурета перед косо прибитой маминой иконой. Я бродил по комнате, катая по линолеуму казенные ботинки, и везде видел её тень. На стене всё так же висел её ситцевый платок, а на печи лежала пожелтевшая, пахнущая мышами Псалтирь, по которой она заставляла меня зазубривать строки о первородном грехе. Строки эти — *«Вот, я в беззаконии зачат...»* — ворочались в моей голове злым, дребезжащим звоном, выжигая остатки детского разума.

В последнюю ночь перед приездом приютского автобуса вьюга за окном взвыла с такой дикой, гортанной силой, будто волк водил когтями по обмерзшему стеклу. Я лежал под холодным байковым одеялом, сжавшись в комок, и чувствовал, как под моими ребрами, прямо в эпицентре звенящей пустоты, начинает яростно, неуправляемо закипать багровая лава.

Это не была обычная человеческая обида или страх сироты. Мой Огонь, который матушка всю жизнь звала «бесовым семенем», пробил заслонку. Ему было слишком тесно в моем десятилетнем теле. Жар поднимался по пищеводу, перекрывая дыхание, суставы ломило так, будто кости плавились изнутри и превращались в жидкое железо.

Не соображая, что делаю, я соскочил с кровати и заметался по темной комнате. Дышать стало нечем. Я подбежал к углу, где на низком столе стояла та самая бумажная икона, и в безумии прижал ладони к бревенчатой стене избы.

Внутри меня что-то коротко, сухо лопнуло. Я не увидел яркой вспышки — я услышал, как с противным, свистящим шипением мгновенно обуглился старый мох между венцами сруба. Из моих пальцев наружу рванулось яростное, багровое пламя. Оно не было сказочным или чистым — это был грязный, тяжелый пожар, пахнущий паленой костью, мазутом и сухой печной золой.

Огонь побежал по бревнам вверх со скоростью голодного зверя. Старые обои, отходившие от сырости, вспыхнули с сухим треском, сворачиваясь в черные, дымящиеся трубки. Я испуганно отпрянул назад, сжимая кулаки, пытаясь погасить этот жар, но руки сами источали багровые угли. Мое дыхание поджигало воздух. Ситцевое мамино платье, висевшее на гвозде, вспыхнуло в одну секунду, превратившись в яркий, танцующий факел, а пожелтевшие листы Псалтири на печи полетели по комнате горящим серым пеплом.

Изба занялась вся, целиком, сверху донизу. Дерево, иссушенное зимними морозами и годами печного тепла, жрало пламя с утробным, страшным ревом. Потолочные балки застонали, из их пазов со свистом потекла кипящая, янтарная смола, капая на грязный линолеум пола. Комната мгновенно заполнилась густым, сизым дымом от горящей олифы, от которого слепли глаза, а в горле вставал сухой ком чешуи.

Я вышиб тяжелую дубовую дверь плечом и выкатился наружу, прямо в обжигающий мартовский сугроб.

Я лежал на животе в тающем снегу, судорожно глотая морозный воздух разбитыми губами, и смотрел, как горит мой прошлый мир. Изба матери полыхала посреди ночной вьюги огромным, безумным костром. Багровые языки пламени рвались сквозь провалившуюся крышу прямо в черное провисшее небо, выжигая туман на сотни метров вокруг. В этом огне сгорало всё мое изломанный детство: мамины жуткие ночные молитвы, стеклянный глаз няньки Людмилы Ивановны, страх перед Дьяволом в сугробах и сама память о том, что у меня когда-то был дом.

К рассвету, когда к окраине деревни наконец дотащился приютский автобус с хмурым участковым, от избы остался лишь почерневший, дымящийся остов печи да гора серого, тяжелого пепла, медленно остывающего под косым мартовским снегом. Я стоял у забора, пряча обожженные, покрытые серой коркой окалины ладони в карманы куртки, и смотрел на это пепелище без единой слезы. Тот Хранитель Огня, чей волчий след отец оставил во мне тридцать лет назад, окончательно проснулся. И этот выжженный дом был его первой, настоящей данью земле.

Глава 2. Законы «Недежды»

«Яко Ты, Господи, упование мое,
Вышняго положил еси прибежище твое»
Псалом 90:9



В детский дом «Надежда» меня привезли в глухом ноябрьском тумане. Конвоировал меня хмурый участковый с багровым от холода носом, от которого за версту пахло махорочным перегаром и казенным сукном. Серая бетонная трехэтажка, обнесенная забором из кривого

штакетника с натянутыми поверху ржавыми нитями колючей проволоки, больше походила на пересыльную тюрьму для мелких уголовников, чем на приют. На крыльце, лениво сплевывая шелуху от семечек прямо на обледенелые ступени, терлись трое старшаков в засаленных спортивных куртках. Один из них, долговязый, с провалившейся переносицей и тусклыми, косящими к носу глазами, проводил меня тяжелым, оценивающим взглядом хищника. Это был Костыль — некоронованный хозяин второго этажа и прачечной, тот самый, чье имя я научусь ненавидеть раньше, чем запомню расписание уроков.

Первая неделя превратилась в сплошной кошмар на выживание. Спальня на шесть коек встречала кислым запахом немытых тел, хлорки и мокрых байковых одеял со штампами Минпроса. Ночами комната не спала — она дышала затаенной злобой.

Проверка на излом случилась на пятый день, в глухом тупике за столовой, где пахло тушеной капустой и подгорелой кашей. Костыль и двое его шестерок — жирный, вечно сопящий косолапый пацан по кличке Кабан и сухой, шустрый Шкет — прижали меня у глухой стены, под которой высилась гора пустых ящиков из-под гнилого лука.

— Ну что, новенький, — Костыль лениво перекатил во рту обломок спички. — Уговор простой. Сигареты, что тебе бабка сунула, и карманные деньги — сюда. Каждый понедельник. Не принесешь — будем учить тебя вежливости за изолятором. Там кричи не кричи, никто не услышит.

Я молчал, намертво вжавшись спиной в холодный бетон. Пальцы в карманах брюк судорожно сжались в кулаки. В голове бился душный, безумный шепот матери: *«Бесово семя... во грехе зачатый...»* Злость, копившаяся во мне с тех самых пор, как матушку закопали в сырую кладбищенскую глину, вдруг рванулась наружу, комом встав в горле. Я не стал дожидаться замаха. Развернулся всем телом и с размаху впечатал Костылю кулак прямо в изломанную переносицу.

Удар вышел хрустким, сочным. Старшак взвыл, отшатнулся назад, утирая мгновенно хлынувшую черную кровь.

— Ах ты сука малолетняя! — взвизгнул Кабан, бросаясь на меня всей своей тушей.

Били меня долго, методично и со знанием дела — ногами в бока, по почкам, стараясь не задевать лицо, чтобы на вечерней поверке у воспитателей не возникло лишних вопросов. Я катался по грязному, затоптанному полу, закрывая голову руками, но не издал ни единого писка, ни выдоха. Зубы зашлись от боли, во рту разлился знакомый медный привкус крови, но я лишь крепче сжимал челюсти. Они ждали, когда я начну умолять, судорожно глотая слезы, как это делали домашние неопытные мальчишки, попавшие сюда по глупости. Но слез у меня не было — они все вымерзли на кладбище.

Минуты через три Костыль, тяжело дыша и прижимая к носу окровавленный рукав, сплюнул под лавку:

— Стой, Кабан... Хорош. Этот урод каменный. Он не заскулит.

Я медленно поднялся, цепляясь зубами за воротник штормовки, чтобы удержать равновесие. Лицо распухло, под левым глазом наливался тяжелый лиловый кровоподтек, но я смотрел на них в упор. Прямо, не мигая. Так смотрят волки из чащи на охотничьи флажки.

— Каждую ночь, — тихо, с хрипом выдохнул я, сплевывая сгусток крови прямо на кроссовки долговязого. — Каждую ночь, Костыль, когда ты будешь спать, я буду стоять у твоей койки. С кирпичом. Или с заточкой. Запомни это, падла. Мне терять нечего, я тебя в туалете утоплю, если еще раз пальцем тронешь.

Старшаки переглянулись. В их глазах, привыкших ломать чужую волю через страх, впервые промелькнуло то самое оцепенение, какое бывает у дворовых собак перед бешеной лисой. Они поняли: я не буду играть по их правилам. Я не буду платить дань. Я просто убью их, если они не убьют меня первыми.

С того дня меня оставили в покое. Я завоевал свой авторитет одиночки — суровый, волчий, пахнущий кровью и вечным ожиданием удара в спину. Со мной не искали дружбы, но дорогу уступали даже самые отбитые обитатели третьего этажа. Я стал тенью в стенах «Надежды».

Здесь впервые я начал писать стихи, но они выходили корявыми и нескладными:

За колючей проволокой судьбы,
Где реальность тверда и груба,
Я учусь выживать, как могу,
Среди стен, что душат, как тюрьма.

Здесь законы иные, свои,
Здесь жестокость — как воздух вокруг.
Но в душе моей — пламя внутри,
Что не сломит ни страх, ни испуг.

Одиночество в «Надежде» не было тихим — оно звенело от постоянного чужого мата, шарканья сотен казенных ботинок и хлопанья тяжелых дверей. Я сторонился всех, за что пацаны прозвали меня Камнем. Но к концу второй зимы, когда морозы зажали бетонную коробку приюта в ледяные тиски, а из щелей оконных рам сипело так, что одеяла покрывались инеем, в моей изломанной жизни появилось единственное живое существо.

Я нашел его за прачечной, возле кучи обледенелого угольного шлака. Маленький, дымчато-серый комок шерсти с обмороженным кончиком уха дрожал так, что казался неживым. Он даже не мяукал — просто беззвучно разевал крошечную розовую пасть, утопая лапами в грязном снегу. Что-то внутри меня, глубоко под ребрами, где уже второй год тлел душный уголь материнского проклятия, коротко и болезненно дернулось. Я сунул его за пазуху, прямо под заношенную брезентовую штормовку. Котенок мгновенно вцепился крошечными когтями в мою фланелевую рубаху и затих, согреваясь от лихорадочного тепла моего тела.

Пронести его в спальню на четверых было делом плевым — воспитатели на вечерней поверке редко смотрели дальше инвентарных номеров на спинках коек. Я нарёк его просто Дымком. Он стал моей самой тщательно оберегаемой тайной. Жил Дымок в тумбочке, за кучей старых казенных учебников и обрывков химических карандашей. Каждый день в столовой я шел на унизительные сделки: выменивал у Кабана половину своей порции жидкого супа на крошечный кусочек заветренного сала или сливал в пузырек из-под пенициллина остатки разбавленного молока. А он всегда приветливо мяукал, когда чувствовал мое приближение, я любил его. Эта любовь была бесценная для меня и для этого маленького существа. Он был таким беззащитным, не мог даже зашипеть на обидчиков, а их было полно: от крыс, что вырывали еду у него прямо из пасти, до жестоких подростков.

По ночам, когда комната оглашалась ржавым скрипом панцирных сеток и тяжелым сопением спящих пацанов, Дымок выбирался из своего убежища. Он перебирался ко мне на кровать, сворачивался клубком прямо на моей груди и начинал тихо, мерно урчать. Этот едва слышный звук заменял мне всё то, чего я был когда-то давно лишен: материнскую колыбельную, тепло несгоревшего дома и надежду на то, что я еще не окончательно превратился в дикого зверя. Я гладил его сухую, пахнущую угольной пылью шерстку и думал, что ради этого серого комка смогу вытерпеть любую зуботычину от старшаков.

Весна в «Надежде» не приходила праздником — она наползала гнилой, серой сыростью. К началу марта лед на окнах спальни истончился, превратившись в грязные водяные подтеки, которые разъедали казенную масляную краску на подоконниках. Бетонная коробка приюта, всю зиму пахнувшая промозглым углем и заиндевевшим брезентом, теперь задыхалась от тяжелого, кислого испарения сушащихся портянок и сырого подвального грибка. Вместе с

оттепелью пришла новая беда: скрывать Дымка в деревянном нутре тумбочки стало физически невозможно.

За эти месяцы котенок изменился. Из крошечного, невесомого комка, который легко помещался в ладонь, он вытянулся в нескладного, длиннолапого подростка. Подросший Дымок больше не мог свернуться незаметным клубком за стопкой обтрепанных учебников по арифметике. Его серая шерсть, очистившаяся от угольной пыли, стала гуще, а рваный, когда-то обмороженный край левого уха затянулся плотным, бледным рубцом. Хвост его стал длинным и подвижным, и когда Дымок нервничал, он принимался глухо стучать им по задней фанерной стенке тумбочки — этот мерный, дробный стук в ночной тишине спальни казался мне громче набатного колокола.

Но главное — к нему вернулся голос. То, чего я боялся больше всего, случилось в середине марта, когда воздух за окном потеплел до первых капелей. Его простуженные, поврежденные январским морозом связки окрепли. Сначала это было лишь сиплое, утробное ворчание, которым он встречал меня со смены в мастерских, но с каждым днем звук становился отчетливее. Теперь Дымок не просто беззвучно разевал розовую пасть; он требовал еды и свободы коротким, требовательным мяуканьем. Каждое такое «мяу», раздававшееся из-под запертой дверцы, заставляло мое сердце замирать от ужаса. В спальне на четверых, где у каждого пацана уши были настроены на любой чужой шорох, скрывать живое присутствие было безумием.

В ветеринарии и биологии есть жесткий закон: крупному хищнику, пусть даже весом чуть больше килограмма, необходимо пространство. Тумбочка тридцать на сорок сантиметров стала для Дымка персональным карцером. Оставляя его там на весь день, я шел на уроки с тяжелой головой, зная, что внутри этого деревянного ящика разворачивается тихая драма. Коту не хватало кислорода. Старые казенные книги, которые он раньше грыз от голода, теперь были изодраны в мелкое, серое крошево — так он пытался копать, повинуясь инстинкту, требующему спрятать следы своего существования.

Запах стал нашей главной уязвимостью. Никакое украденное хлорное мыло и фиолетовые грифели химических карандашей больше не могли заглушить едкий, концентрированный дух кошачьей мочи, который намертво въелся в рассохшиеся доски тумбочки. Кабан, чья койка стояла ближе всего к моей, начал подозрительно принюхиваться еще в начале недели.

— Слышь, Камень, — цедил он сквозь зубы, сплевывая на крашеный пол, — у тебя из угла несет, как из скотомогильника. Ты чё там, крысу дохлую под матрасом держишь или сам протух?

Я молчал, сжимая кулаки в карманах штормовки до белизны костяшек. Мое прозвище обязывало меня быть глухим к любым наездам, но внутри меня все дрожало от предчувствия скорой катастрофы.

Дымок больше не хотел сидеть взаперти. Стоило мне вечером приоткрыть дверцу, чтобы сунуть ему пузырек с разбавленным молоком или обрезки заветренной ливерной колбасы, как он слепо рвался наружу, во тьму спальни. Его когти, длинные и острые, цеплялись за мои пальцы, оставляя глубокие, воспаляющиеся царапины. Я не злился на него. Я понимал его бунт. Его природа требовала мартовского ветра, сырой земли под лапами и охоты, а я держал его в застенке, который пах пыльной арифметикой и чужими грязными носками. По ночам он ложился на мою грудь уже не так мирно, как зимой — его тело было напряжено, словно натянутая струна, а урчание сменилось тревожным, прерывистым вздохом. Мы оба были заперты в этой «Надежде», и стены ее с каждым весенним днем сжимались все сильнее.

Но законы «Надежды» не прощали уязвимости. Костыль и его шестерки быстро пронюхали, что Камень больше не смотрит мимо них волком, а прячет что-то в своей тумбочке.

В тот четверг нас погнали на генеральную уборку снега за изолятором. Я махал тяжелой деревянной лопатой два часа, и всё это время в груди ворочалось нехорошее, липкое предчув-

ствие беды. Едва бросив инструмент в каптерке, я со всех ног кинулся по серому линолеуму коридора на третий этаж.

Дверь нашей каморки была приоткрыта. Внутри стояла удушливая, страшная тишина.

Я сделал шаг через порог, и ноги у меня подкосились... Я никогда не забуду той страшной картины, той разрывающей сердце боли…

Прямо у ножки моей панцирной койки, на затоптанном, грязном полу расплывалась свежая, лаковая лужа крови. Посреди этой лужи, неестественно вывернув маленькую голову, лежал Дымок. Его серый бок был грязно распорот осколком стекла от разбитой бутылки, а стеклянные, серо-зеленые глаза смотрели в потолок с пугающим, осознанным упреком. Котенок еще слабо, судорожно дергал задней лапой, пачкая кровью крашеную половицу, но жизнь уходила из него с каждым толчком маленького сердца.

В ушах зазвенело…

Я не мог поверить в увиденное, картина будто рассыпалась на глазах, чтобы ее собрать воедино потребовалось такое усилие, такая сила…

Тогда я почувствовал внутренний огонь, он разгорался с каждым вздохом.

Удар…

Еще один…

И тишина…

На подоконнике, лениво ковыряя в зубах спичкой, сидел Костыль. Рядом ухмылялся жирный Кабан.

— Ну что, Камень, — тихо, с издевкой процедил Костыль, сплевывая под ноги. — Мы же говорили тебе: в этом доме крыс разводить запрещено. Забылся, говнюк малолетний?

Я не закричал. Голос вымер во мне, застряв сухой чешуей в горле. Я медленно опустился на колени прямо в липкую, горячую кровь рядом со своей кроватью, взял Дымка на руки. Его крошечное тело в моих ладонях в последний раз вздрогнуло и обмякло, стремительно теряя тепло.

В этот самый миг под моими ребрами, прямо в эпицентре выжженной пустоты, яростно заворочался тот самый, дремавший доселе Огонь. Ладони обдало таким диким, сухим жаром, что кровь на моих пальцах мгновенно запеклась, превратившись в черную сухую корку. Я поднялся с колен, прижимая к груди мертвого котенка, и посмотрел на Костыля. В моих глазах больше не было человеческого страха — там горели два багровых, безумных угля, готовых спалить всю эту бетонную коробку до основания.

— Беги, Костыль, — тихо, со страшным сипением выдохнул я. — Беги прямо сейчас. Потому что если я поймаю тебя в темноте, ты позавидуешь этой кошке.

Старшак мгновенно перестал ухмыляться. Его лицо выцвело до костяной бледности, он торопливо соскочил с подоконника и вместе со своими шестерками боком, испуганно вжимаясь в стены, выскочил из комнаты. А я остался стоять посреди спальни, баюкая свое первое разбитое сердце...

Глава 3. Любовь или влюбленность?

«…ибо во век милость Его»
Псалом 135

Мне исполнилось шестнадцать. Серый приютский быт тянулся однообразной паутиной, пока в один из промозглых сентябрьских дней я не сбежал в городскую библиотеку, спасаясь от очередной нудной проверки санстанции.

Там, среди бесконечных стеллажей со старыми, пахнущими мышами и высохшим клеем книгами, я встретил Её.

Она была не просто красива — она была анатомически, пугающе чиста. На фоне серого библиотечного тлена, где пожелтевшие страницы исходили сладковатым запахом разлагающегося костного клея, её бледность казалась искусственной, фарфоровой. Её профиль, очерченный блеклым, умирающим лучом октябрьского солнца, обладал той тонкостью линий, которую лекари прошлого искали в чертах чахоточных барышень. Это была бледность аристократического угасания, хрупкость, граничащая со стерильностью операционной, где нет места микробам, гнили и мату приютских коридоров.

Волосы её, лишенные тяжелого, сального блеска, присущего всем обитателям «Надежды», падали на лицо тонкими, сухими прядями цвета немытого льна или выцветшей на солнце соломы. В них не было объема — лишь невесомая, пуховая текстура. Когда она слегка поворачивала голову, эти пряди двигались беззвучно, не задевая воротника, словно состояли из паутины.

Она сидела у самого окна, сквозь которое пробивался блеклый луч осеннего солнца. Светлые волосы тонкими прядями падали на лицо, а на переносице и бледных щеках россыпью горели золотистые веснушки — яркие, контрастирующие с серой, дождливой погодой за стеклом. Веснушки на её переносице и щеках были единственной живой деталью, оскорблением для этой мертвенной белизны. Но они не портили её — они горели на бледных скулах, как капли самородного золота, случайно пролитые алхимиком на чистый лист пергамента. Это не были те крупные, ржавые пятна, какими покрываются летом деревенские девки на сенокосе; это была мелкая, ювелирная россыпь. На фоне затянутого тучами неба за стеклом, из которого сочилась бесконечная, липкая изморось, её лицо казалось единственным источником тепла во всем этом проклятом здании.

Простой шерстяной свитер крупной вязки — грубый, грязно-белого цвета, пахнущий овечьей шерстью и чистым мылом — укрывал её тело, словно мягкая броня. Высокий, плотный ворот доходил до самого подбородка, пряча шею. В этой чрезмерной, казенной по размеру одежде её голова казалась хрупким цветком на сломанном стебле. Свитер поглощал её, делал её фигуру почти бесплотной, лишенной уродливых физиологических выпуклостей, которые в «Надежде» всегда становились объектом сальных шуток старшаков.

Она держала книгу тонкими, длинными пальцами, ногти которых были подстрижены ровно и чисто — без траурных черных ободков грязи под кутикулой, без заусенцев и шрамов. Я смотрел на её запястье, выступающее из широкого рукава: тонкая кость, лучезапястный сустав, кажущийся столь хрупким, что одно неосторожное движение краниокласта или акушерских щипцов могло бы раздробить его в порошок. Она перевернула страницу, и этот тихий, сухой шелест бумаги отозвался в моей груди той же микровибрацией, которой Дымок лечил мое порочное сердце по ночам. Она была моим вторым спасением — безмолвным, недосягаемым и чистым, как первый снег, который еще не коснулся грязной земли приютского двора.

Я замер между полками, боясь шевельнуться, чтобы не скрипнуть казенными ботинками. Она подняла голову от толстого тома, и её серо-зеленые глаза с золотыми искрами посмотрели прямо мне в душу.

— Парень, ты так смотришь, будто собираешься меня съесть, — тихо, с мягкой хриповатой насмешкой сказала она. — Или тебе тоже нужен этот трактат по средневековой истории?

— Нет... — буркнул я, пряча руки в карманы куртки. — Я просто так. Греюсь.

Она улыбнулась — тепло, открыто. Без той брезгливости, с какой городские девчонки обычно оглядывали детдомовских сирот в заношенных пальто.

— Ну садись рядом, раз греешься. Меня Алисой зовут.

Это было наше первое свидание — без цветов и кафе, за колченогим библиотечным столом под монотонный шелест страниц и ворчание старой глухой смотрительницы в углу. Я слушал её голос, и внутри меня впервые за шесть лет затихала та самая злая, морозная тишина. Она рассказывала мне о своих родителях — благополучных городских инженерах, о домашнем коте, который любит спать на её конспектах, о том, как мечтает после школы уехать во Владивосток, чтобы увидеть настоящий океан. А я молчал. Я не мог рассказать ей про Костыля, про сырые одеяла и про матушку, которая заставляла меня искать дьявола в сугробах. Я просто впитывал её запах — запах ванили, чистого жилья и недоступного мне счастья.

Второе наше свидание случилось через две недели, в тихий субботний вечер. Алиса подбила меня на настоящее преступление — залезть в старый пригородный сад, принадлежавший какому-то заброшенному селекционному институту.

Вечер был теплым, пахло прелой листвой, кострами и антоновскими яблоками. Мы перелезли через покосившийся дощатый забор и оказались среди вековых, заросших диким малинником деревьев. На самых верхних ветках старой поздней вишни еще висели редкие, сморщенные от первых ночных заморозков ягоды — черные, налитые густым, почти чернильным соком.

— Грешник, лезь наверх! — Алиса азартно дергала меня за рукав штормовки, её глаза в сумерках горели шальными огоньками. — Ну же, они самые сладкие, я знаю!

Я легко, привыкший цепляться за выступы бетонных заборов, взлетел по узловатому стволу лиственницы на самую верхотуру. Ветки гнулись и трещали под моим весом, соленый ветер трепал волосы. Я рвал эти ледяные, вяжущие ягоды и бросал их вниз, прямо в подол её раскрытой куртки. Алиса ловила их, смеялась звонким, чистым смехом, от которого у меня перехватывало дыхание.

Когда я спустился, лицо её было испачкано темным вишневым соком. Я протянул руку и аккуратно, кончиками пальцев стер липкую каплю с её бледной щеки, прямо под россыпью веснушек. Она замерла. Смех затих. В этой густой таежной тишине заброшенного сада мы стояли так близко, что я слышал быстрый, прерывистый стук её сердца.

— Ты странный, Грешник, — тихо прошептала она, не отводя глаз. — Злой снаружи, как пес цепной, а пальцы у тебя теплые. И смотришь так, будто защитить хочешь от всего мира.

— Защищу, — твердо ответил я, и в ту минуту я по-настоящему верил, что моей волчьей злости хватит, чтобы перекусить горло любому, кто посмеет к ней прикоснуться. — Навсегда защищу, Алиса.

Она прижалась своей теплой щекой к моей груди, и мы стояли под сенью старой вишни, пока небо над городом не залило густым пурпурным закатом.

В третий раз я вызвался проводить её до самого дома. Это был благополучный, чистый квартал пятиэтажек, где у подъездов росли ухоженные кусты сирени, а на окнах висели накрахмаленные белые занавески. Для меня этот мир казался чужим, вырезанным из красивой журнальной картинки.

Мы шли медленно, растягивая каждый метр тротуара. Алиса держала меня за руку, её пальцы были маленькими, нежными и горячими.

— Айна... то есть, мама моя, сегодня строгая, — Алиса запнулась, смешно сморщив нос *(тогда я не обратил внимания на это странное, выскочившее имя, вспомнив его лишь двадцать лет спустя на берегу Японского моря).* — Она говорит, что я слишком много времени про-

вожу с «непонятными парнями с рабочей окраины». Если она увидит твои разбитые костяшки, точно под замок запрет.

— Тогда не показывай меня, — я остановился у раскидистого куста боярышника, тень от которого надежно укрывала нас от тусклого света подъездного фонаря. — Я здесь подожду, пока ты в окно не помашешь.

Вдруг дверь подъезда со скрипом распахнулась. На крыльцо вышла высокая, статная женщина в строгом темном пальто. Лицо её оставалось в тени, но по тому, как мгновенно подобралась Алиса, я понял — мать. Женщина окинула цепким, немигающим взглядом темный палисадник, словно искала зверя, затаившегося в кустах. От её силуэта даже на расстоянии веяло такой тяжелой, непреклонной силой, что у меня под штормовкой испуганно заворочался глубинный холод. Это была сырая, глубинная магия Воды, которую я тогда еще не умел распознавать.

— Алиса! — голос женщины прозвучал ровно, сухо, словно льдина треснула на реке. — Живо домой. Время позднее, туман с реки поднимается.

Алиса испуганно обернулась ко мне, быстро, на долю секунды прижалась своими мягкими губами к моей щеке:

— Я побежала... Завтра в библиотеке, в четыре! Обещаешь?

— Обещаю, — прошептал я в темноту кустов.

Она упорхнула, её светлые волосы мелькнули в проеме двери и исчезли. Строгая мать еще секунду постояла на крыльце, вглядываясь прямо в то место, где я затаил дыхание, затем повернулась и вошла внутрь. Захлопнувшаяся тяжелая железная дверь отозвалась в моей груди глухим, зловещим предчувствием беды.

А на четвертое наше свидание мы мечтали о будущем. Это было у того самого старого городского пруда, вода в котором казалась темной и тяжелой, как олово. Осенний косой дождь стучал по нашему дырявому зонту, желтые листья тонули у кромки берега.

Алиса сидела, поджав ноги под себя, прямо на моем расстеленном брезентовом плаще.

— Грешник, — она смотрела на воду, и в её серо-зеленых глазах отражалось серое, провисшее небо. — Вот кончится этот приют, кончится школа. Уедем на Дальний Восток? Мне отец рассказывал, там есть поселок Терней, а за ним — сопки дикие и море, которое никогда не замерзает до конца. Там тайга пахнет смолой и солью, и люди живут другие — тихие, сильные, которые умеют слушать камни. Мы построим там маленький дом у самого обрыва, заведем большую собаку и будем провожать закаты. Ты хочешь?

Я бережно обнял её за хрупкие плечи, притягивая к себе. От неё пахло ванилью, мокрой шерстью свитера и чистотой.

— Хочу, Алиса, — тихо сказал я, целуя её в макушку, в пахнущие дождем светлые волосы. — Мне плевать, куда ехать, лишь бы ты рядом была. Я для твоего дома сам деревья валить стану. Камни на берег таскать буду. Только не бросай меня. Не оставляй одного в этой грязи.

Она подняла голову, её глаза были совсем близко.

— Не брошу, Грешник, — прошептала она, и в её голосе впервые прорезалась странная, не детская тяжесть и глубина, словно сбывалось старое пророчество. — Мы связаны с тобой одной нитью. Мертвой или живой — неважно. Мы всё равно придем к нашему морю. Рано или поздно.

И тогда я поцеловал её — по-настоящему, голодно и отчаянно, чувствуя на губах соленый вкус её слез и дождевых капель. Это был поцелуй на краю бездны, поцелуй-клятва, которую я носил под сердцем долгие двадцать лет одиночества.

Оставшийся вечер я читал ей свои стихи, она мило улыбалась попыткам сочинить что-то достойное признания.

В серых стенах библиотечных снов

Встретил свет, что согрел мою кровь.
Алиса — луч в кромешной ночи,
Чистая, словно горный ручей.

Мы бежим от судьбы по весне,
Собираем вишню в саду.
Но судьба, словно тень при луне,
Нас настигнет в кромешной темноте.
Но будь проклята моя судьба. Одним печальным днем я потерял всё.

Тот день начался как обычно – обстановка хаоса, творившегося в стенах заведения. Я собирался в город, как делал это последние месяцы. Алиса ждала меня в нашей библиотеке, но я решил, что сегодня хочу почувствовать вкус свободы. *Будь проклят этот вкус…*

В шестнадцать лет город вползал в мои рецепторы не романтикой, а едким химическим коктейлем. Девяностые годы выплеснулись на улицы провинции гнилой сытостью свободного рынка: неоновые вывески первых коммерческих ларьков горели ядовито-розовым и фосфорическим зеленым, пробивая маслянистую октябрьскую тьму. Из открытых окон первых этажей, сквозь ржавые решетки, хрипели кассетные магнитофоны « International». Музыка — этот механический, зацикленный бит евродэнса с зажеванными высокими частотами — била по барабанным перепонкам, заставляя виски пульсировать в ритме тахикардии.

Я потерялся в этой толпе мгновенно, словно капля сукровицы в сточной канаве. Воздух пах паленым спиртом «Рояль», дешевым табачным дымом сигарет «Magna» и выхлопными газами старых подержанных иномарок. Алкоголь, этот копеечный полусладкий эрзац-портвейн из пластиковой бутылки, подействовал на мой изголодавшийся, поврежденный асфиксией мозг с пугающей быстротой. Этанол мгновенно преодолел барьер. Сначала пришла легкая парестезия — онемели кончики пальцев и губы, затем парализовало тормозные центры коры. Мир вокруг потерял четкие границы, превратившись в смазанный, лихорадочный калейдоскоп.

Случайные разговоры у порога полуподвального ДК, где гремела дискотека, казались мне откровениями. Парни в дерматиновых куртках-косухах и девицы с начесанными челками, пахнущие лаком «Прелесть», что-то кричали мне в самое ухо. Их лица, искаженные неоновыми вспышками стробоскопа, казались мне масками из анатомического театра — челюсти двигались неестественно громко, зрачки были расширены от алкогольного экстаза, а время потеряло свою линейность, распадаясь на отдельные, рваные кадры.

Она возникла из этой табачной полутьмы, словно галлюцинация. Я даже не запомнил её имени. Оксана, кажется, но и оно могло оказаться фальшивым, как и весь ее вид. Она была полной противоположностью Алисе. В ней не было той фарфоровой, стерильной белизны; её кожа пахла дешевой пудрой, девичьим потом и яблочной жевательной резинкой, маскирующей запах сигарет. На ней была синтетическая блузка кислотного цвета и короткая джинсовая юбка, обнажавшая полные, крепкие ноги с синяками на коленях — обычные метки уличной, неприютской жизни.

Когда заиграл очередной хриплый хит, она сама шагнула ко мне, положив влажные, горячие ладони на мои плечи. Мы двигались в такт музыке среди сотен таких же потных, пьяных тел. Это не был танец — это была грубая, первобытная жажда. судорожное трение тел в замкнутом пространстве душного зала. Её пальцы с облупившимся перламутровым лаком впивались в мою брезентовую штормовку, и сквозь слои ткани я чувствовал лихорадочный, животный жар её груди. Её сердце билось часто, со скоростью ста двадцати ударов в минуту.

И в это мгновение петля затянулась. Я забыл об Алисе. Мой мозг, вечно запертый в склепе воспоминаний о звенящей тишине родзала и запахе мышиного клея библиотечных стеллажей, сдался под натиском чистой физиологии. На несколько секунд образ девочки с лазур-

ными венами на висках и золотистой пылью венушек померк, растворился в этом пьяном, животном угаре. Я ушел в беспамятство, утыкаясь носом в жесткие, начесанные волосы незнакомки, ловя губами её горячее, отдающее дешевым ликером дыхание. Я принимал это суррогатное тепло, как умирающий от жажды принимает грязную воду из лужи — жадно, слепо, теряя остатки человеческого достоинства ради иллюзии того, что в шестнадцать лет я тоже могу быть живым, теплым и нужным среди этой ревущей, погрязшей во грехе толпы.

Не знаю, сколько прошло времени, когда голова моя пришла в норму от впечатлений ночи, но когда я вернулся, было уже поздно. Библиотека давно закрылась, а в моей душе зародилось нехорошее предчувствие. Я бросился к зданию, где мы обычно встречались, и увидел её.

Алиса лежала на холодном полу, её светлые волосы были перепачканы кровью, а веснушки казались ещё ярче на бледном лице. Вокруг неё собралась толпа, кто-то вызывал скорую, но я уже знал — ничего не изменить.

Они нашли её несколько часов назад. Те самые амбалы, которых я считал своими «друзьями» по тусовкам, надругались над ней, сломали её чистую, светлую душу. А потом... потом она не смогла жить с этой болью.

Я стоял над её телом и не мог поверить. Моя Алиса, мой свет, моя надежда — ушла. Ушла так же внезапно, как появилась в моей жизни. Её последние минуты были наполнены болью, а я... я был где-то там, в своём мире иллюзий и развлечений.

Следователь рассказывал мне о вскрытых венах, о предсмертной записке, которую она оставила. В ней было всего несколько слов, выведенных трясущимися руками, поэтому буквы скакали по строчкам: *«Прости меня, я не смогла жить с этим».*

Теперь я знаю, что такое настоящая боль. Она разъедает душу, как кислота, не даёт спать по ночам, заставляет видеть её лицо в каждом светловолосом прохожем. И самое страшное, что я понимаю - это я виноват. Я, который обещал защищать её, который клялся, что она — самое важное в моей жизни.

Её похоронили рядом с моей матерью. Теперь они обе там, где мне никогда не быть. Две женщины, которые пытались подарить мне любовь, которых я не смог защитить.

Дни после этого превратились в месяцы, месяцы в годы. Я уже устал считать, сколько времени прошло.

Январь…

Февраль…

Март….

Апрель…

Май…

Июнь…

Прошел год…

Второй…

Казалось, это не закончится никогда, но теперь я знаю — судьба действительно прокляла меня. Потому что вместе с Алисой умерла последняя частичка моей души, способная любить.

Тогда я почувствовал, что в груди разгорается огонь. Тогда я разлюбил весь мир, возненавидел самого себя. Послание, которое должна была увидеть моя мертвая любовь, сгорело вместе с ней. Но на обуглившихся останках, я видел последние строчки:

«Люблю…. Моя Алиса… Навсегда… Твой Грешник»

.

.

.

Конец…?

Глава 4. Рождение нового Бога

«Всякое дыхание да хвалит Господа» -
Псалом 150, стих 6



Святое место поглощало всякий грех, который сюда входил. Его стены, словно древний фильтр, очищали души от скверны, но сегодня я пришёл сюда не за прощением. Сегодня я пришёл за силой. Её мне не хватало столько долгих лет. Мне уже тридцать, проскакивают седые

волосы, а в груди всё так же звенит пустота, будто ветер гуляет по заброшенному и далекому, скрытому ото всех замку.

Я опустился на холодные плиты у алтаря, не осмеливаясь поднять взгляд к ликам святых. Они смотрели строго, как смотрят те, кто видел слишком многое, но на их лицах нельзя было считать осуждения. Воздух здесь был густым, пропитанным вековой тишиной и запахом ладана, который цеплялся за одежду, словно пытался удержать.

Почему именно сейчас, когда хронометр моей изломанной жизни отсчитал ровно тридцать лет, я снова переступил этот порог? За ответом не стояло внезапное благостное просветление или сентиментальная слабость. Это была чистая, холодная экзистенциальная необходимость.

Все эти годы я пытался заглушить звенящую пустоту внутри. Каждый раз, когда мир вокруг меня затихал, я снова возвращался в ту самую мамину квартиру, пропитанному запахом сигарет и удушающему, даже тошнотворному чувству вины. Я понял: если вся моя жизнь началась с греха, с проклятия матери и суеверного страха повитух, то исправить этот дефект структуры можно только там, где законы человеческой биологии уступают место законам вечности. Я вернулся к вере, потому что исчерпал все земные ресурсы выживания. Мое порочное сердце больше не могло перекачивать эту пустоту в одиночку. Мне нужен был абсолютный, исключительный источник тепла, способный расправить мои зараженные легкие так же, как первый крик расправляет альвеолы новорожденного. Я пришел за силой, чтобы выдержать тяжесть собственного бытия.

Тишину разорвал тихий скрип — старая дверь в боковой придел приоткрылась, выпуская тонкую полоску света. Я не двинулся, лишь крепче сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Не за прощением…» — повторил я про себя, будто заклинание, чтобы не дрогнуть.

Из полумрака вышла фигура в тёмной рясе — не священник, а, скорее, хранитель этого места. Его лицо было морщинистое, но приятное, а глаза казались бездонными. Он не задавался глупыми вопросами, в нем хранилось знание веков, проведенных в своей затхлой келье. Просто протянул мне потрёпанный свиток и тихо произнёс:

— Сила не падает с небес, сын мой. Её берут. Но помни: взяв, ты уже не сможешь быть прежним. Сила хранилась в тебе многие годы, с самого рождения ты был особенным, но этот свиток раскроет ее в полной мере.

Я замер, глядя на пожелтевшие края пергамента, на выцветшие буквы, сплетающиеся в незнакомые слова. Внутри что-то дрогнуло: то ли страх, то ли предвкушение. Я знал: стоит развернуть этот свиток, и дорога назад исчезнет, растворится в этой густой, очищающей тишине, которую стены храма так бережно хранили столетиями.

Свиток обжёг ладони, едва я развернул его. Не огнём — холодом. Ощущение было таким, как будто прикоснулся к промёрзшему металлу в лютый мороз. Буквы, выцветшие до цвета старой кости, поплыли перед глазами, складываясь в слова на незнакомом языке. И всё же я понимал их. Каждое.

«Ищи там, где земля встречается с небом. Где вода помнит голоса предков. Где камни дышат. Там найдёшь то, что потерял. Или потеряешь то, что найдёшь».

Священник, который сейчас напоминал Дьявола, смотрел на меня бездонными глазами, и в их глубине не было ни жалости, ни торжества. Пергамент казался договором с самим Сатаной.

Много ли тех несчастных, которые заключают в лапы демона свои страхи и несбыточные мечтания? Таких тысячи, миллионы, миллиарды. Каждый в этом священном месте хотел бы быть богатым, признанным не только родителями, но и всем обществом. Тщеславие, жадность, прелюбодеяние – все эти грехи заполнили человеческое общество. Я был им свидетелем.

И я видел это. Видел и не мог отвернуться — словно сам стоял на пороге между светом и тенью, и каждый их шёпот отзывался во мне эхом собственных желаний.

Однажды старец, живший у подножия горы, где люди искали благословения, рассказал мне притчу:

«Представь путника, что идёт по узкой тропе над пропастью. В одной руке он держит фонарь, в другой — мешок. Фонарь светит слабо, но верно, а мешок тяжёлый, набитый камнями. На каждом камне вырезано слово: „Слава“, „Богатство“, „Месть“, „Признание“. Путник думает, что эти камни — его сокровища, опора. Он прижимает мешок к груди, будто без него рухнет в бездну. Но чем крепче он держится за мешок, тем сильнее он тянет его вниз. Тропа сужается, ветер рвёт одежду, а фонарь едва теплится: ему не хватает воздуха, потому что весь воздух уходит на то, чтобы удерживать тяжесть.

И вот приходит миг, когда тропа становится такой узкой, что можно идти, только вытянув руки вперёд, отпустив всё лишнее. Но путник не может. Он боится, что без мешка он не справится. Что если он бросит камни, пропасть поглотит не только его тело, но и его имя.

Тогда старец тихо говорит ему: „Ты не удержишь пропасть. Ты можешь только пройти над ней. А мешок твой — якорь. Он не спасёт тебя, он лишь заставит упасть раньше“.

Путник долго стоял, сжимая мешок. Пальцы побелели от напряжения. А потом, когда ветер сорвал с него шляпу и унёс её в бездну, он вдруг понял: шляпа улетела, а он всё ещё стоит. И тогда он разжал пальцы. Камни посыпались вниз, один за другим, и каждый, падая, звенел, будто кричал: „Ты меня теряешь! Ты теряешь себя!“ Но когда последний камень исчез во тьме, путник почувствовал, как плечи вдруг стали легче, а фонарь — ярче. Он пошёл дальше, не оглядываясь, потому что теперь знал: свет не в тяжести, а в свободе идти».

Старец замолчал и посмотрел на толпу, что теснилась у ворот священного места.

— Видишь ли, — сказал он, — большинство так и не доходят до той узкой тропы. Они останавливаются раньше, там, где ещё можно держаться за камни. Они складывают из этих камней стены вокруг себя, думая, что строят храм. А на деле — тюрьму. И называют её судьбой, которую можно купить, обменять, выпросить.

Я слушал и думал о том, сколько людей сейчас сжимают в пальцах свои страхи и мечты, будто это монеты, которыми можно расплатиться с вечностью. Сколько из них верят, что, если держать крепче, демон станет слугой. Но демон лишь ждёт, когда хватка станет судорожной, чтобы самому вцепиться в руку.

Но я отвлек моего читателя такими личными размышлениями от рассказа. Прошу простить и не карать тридцатилетнего старика.

— Куда? — спросил я, и голос мой прозвучал хрипло, будто я неделю не разговаривал.

— Туда, где восходит солнце над океаном, — ответил он. — Дальний Восток. Земля, которую русские назвали «дальней», а местные — «краем мира». Там твоя сила пустит корни... или погубит тебя.

Я свернул свиток и спрятал за пазуху. Холод от пергамента разливался по телу, но внутри, где-то под рёбрами, впервые за долгие годы тлел уголёк. Не надежда — её я давно похоронил. Нечто иное.

Голод.

Я вышел из церкви, запах ладана еще оставался на верхней одежде и вызывал приятные воспоминания. Около дома меня остановил незнакомый мужчина в охотничьей шинели. В его руках лежала нетронутая пачка дорогих импортных сигарет с красной каймой по бокам.

- Огоньку не найдется? – раздался хриплый голос мужчины, я обратил внимание на его сопение и сломанный нос. В голове сразу возник образ случайной пьяной драки между друзьями, которых у меня не было.

Я молчал, прижавшись спиной к парадной двери еще какое-то время, но этого времени хватило, чтобы охотник потерял ко мне всякий интерес.

Оставшись один, сделал шаг вперед, оттолкнувшись от двери, и пошел в квартиру. Она досталась мне от государства, как сироте, — однокомнатная, маленькая, её стены казались тюрьмой.

Казенный угол на четвертом этаже хрущевки на окраине промышленной зоны пах точно так же, как спальня в «Надежде», — старым линолеумом, сырыми трубами и застарелым одиночеством. Государство выдало мне эти квадратные метры, словно откупилось за исковерканное детство, и успокоилось. Мебели здесь почти не водилось. Из угла в угол тянулись блеклые серые обои в мелкий цветочек, которые местами отходили от сырости, обнажая пожелтевшие газеты тридцатилетней давности. Из вещного скарба у меня были только колченогий кухонный стол, узкая железная кровать с провисшей сеткой — привет приютскому прошлому — да тяжелый фанерный шкаф, который страшно, утробно скрипел всякий раз, когда я дергал за ручку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.